

ТАТЬЯНА АЛПАТОВА

Московский государственный областной университет
(Москва, Россия)

ORCID 0000-0001-6852-0537

e-mail: alpatova2005@rambler.ru

**ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ДУШИ
(„ПРИНЦИП ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО ДЕЛЕНИЯ”
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ
В РОМАНЕ В СТИХАХ *ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН*)**

**THE FOUR AGES OF THE SOUL
(„THE CONCEPT OF SUFFICIENT DIVISION” AS A BASIS
FOR CHARACTER STRUCTURE IN THE VERSE NOVEL
EUGENE ONEGIN)**

Abstract:

The article focuses on the system of characters in the verse novel *Eugene Onegin* analyzed in the context of Pushkin's artistic anthropology. Each of the characters involved within the plot retains individual features and at the same time enters into a more generalized context, becoming part of philosophical reflections on the formation of personality that passes four stages in its development: childhood, adolescence, youth, and maturity. The socio-cultural and psychological "ages" of Pushkin's characters (Olga's childhood, Lensky's adolescence, Onegin's youth, Tatyana's maturity) taken together, reveal a universalizing potential in the novel plot and a unifying anthropological concept of accumulation and resolution of life contradictions, genetically related to Pushkin's lyrics and prose of the mid-1820s - early 1830s.

Keywords: verse novel, poetics, artistic anthropology, literary tradition

Философский потенциал романа в стихах *Евгений Онегин* был в значительной степени „разгадан” уже первыми его читателями, сумевшими увидеть в „энциклопедичности” пушкинского текста отнюдь не только сведения об эпохе, но именно возможность развертывания „в глубину”, при которой упомянутая в тексте деталь, сюжетная ситуация, внесюжетное „авторское” уточнение оказываются способны вести к достаточно неожиданным обобщающим итогам. Поэтико-философское обоснование этому, по-видимому, закладывается парадоксальным объединением двух разноплановых интенций, предопределенных формой „романа в стихах” как в силу его уникальной „дневниковости”, а потому незавершенности, так и в силу идеальной завершенности каждого отдельного образа, явившегося в тексте.

На уровне поэтики своеобразным объяснением этой завершенности/незавершенности текстового потенциала *Евгения Онегина* стала концепция „исчерпывающего деления”, предложенная Львом Пумпянским в связи с размышлениями о более общей проблеме генетической связи Пушкина с традициями литературы XVIII века. Именно „списки” и „перечни” *Евгения Онегина* позволили исследователю сделать вывод, как трансформируется „исчерпывающее деление” в пушкинском мире – из рационалистической, логически завершенной („исчерпанной”) конструкции оно становится перечислением разнообразных деталей, сам порядок следования которых не подчинен никакому заранее известному логическому построению, а формируется спонтанно – в конечном счете, становясь воплощением спонтанности, непредсказуемости, свободы как принципа устройства бытия. „Исчерпывающее деление” как принцип рационалистического мышления и „спутник” классического стиля, позволяет „обозреть до конца”¹ то, что раскрылось в гармонично-завершенной картине мира, художественное воплощение которой не случайно требует таких авторских „добродетелей”, как „ясность, аристотелева удобообозримость, быстрота, ограничивающая описание окрыленным (через эпитет) упоминанием”².

¹ Лев Пумпянский: *Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы*. Москва 2000, с. 213.

² Ibidem, с. 217.

„Исчерпывающее деление”, если рассматривать его не только ретроспективно, как реализацию рационально-логических принципов поэтики XVIII столетия, но и с учетом возможной перспективы – как отражение многообразия окружающего мира – глубоко пронизывает поэтическую структуру *Евгения Онегина*, что и придает особую динамику романной структуре, потому что автор здесь „...не описывает и едва рассказывает, – он упоминает”³, в результате чего „произведение слагается как заполнение длинного свитка, способного вместить неопределенно большое число предметов”⁴. В эти „списки” и „перечни” выстраиваются детали, обретающие разнообразный культурно-исторический, характерологический, психологический потенциал. В совокупности с многоуровневостью сюжетных планов романа, а также „возможными сюжетами”⁵, также способствуют неограниченно широкому потенциалу осмысления „перечней”. Эти закономерности поэтики *Евгения Онегина*, по-видимому, могут стать опорой для анализа художественной антропологии Пушкина, реализованной в структуре персонажной системы романа в стихах.

На уровне философского осмысления романа это свойство мышления настраивает на особый универсализм, когда конкретика и житейская „узнаваемость” деталей, из которых слагается „культурный язык” эпохи, реализует возможность обобщения, притом как в отношении поистине космической пространственно-временной модели „романа в стихах”, так и в отношении художественной антропологии. Пушкинские герои являются в этом контексте не только индивидуально-неповторимыми личностями, но и обобщенной реализацией некоей единой концепции человека (типологически сопоставимой с моделью „соборной личности”, реализованной в *Братьях Карамазовых* Ф.М.Достоевского).

Четверка персонажей *Евгения Онегина* органичнее всего может восприниматься как воплощение авторских представлений о становлении и развитии личности, что в целом соответствовало и своеобразной функции романа в стихах, рассматриваемого как „спутника странного”, сопровождающего личностную историю самого Автора.

³ Лев Пумпянский: *Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы*. Москва 2000, с. 217.

⁴ Ibidem, с. 217.

⁵ Сергей Бочаров: *О реальном и возможном сюжете („Евгений Онегин”)*, *Динамическая поэтика. От замысла к воплощению*. Москва 1990, с. 14-38.

Не случайно исследователи, обращавшиеся к истории создания, практически всегда приходили к выводу, что ее продолжительность и внутренняя логика определяются не только и не столько задачами создания текста, но выполняют гораздо более сложные функции самопознания, сопоставимые с дневниковыми. При этом „роман в стихах” как лиро-эпический „дневник” слагается буквально „на глазах” у читателя (чему немало способствовала принятая Пушкиным авторская стратегия публиковать текст до его формального завершения) – и таким образом мотив становления (текста – отражающего становление личности Автора – в свою очередь, заставляющего размышлять о становлении человека в масштабе антропологических универсалий) становится одним из центральных в произведении.

Четверка персонажей при этом в логике „исчерпывающего деления” оказывается реализацией представлений о взрослении как движении личности через четыре возрастные этапа: детство – юность – молодость и зрелость, причем изображение каждого следующего как бы „захватывает” часть качеств этапа предыдущего, до определенного момента накапливая нерешенные личностные противоречия, возможность выйти за пределы которых возникает лишь на этапе зрелости.

Детское начало связывается в антропологической перспективе романа в стихах прежде всего с Ольгой. Возможно, именно по этой причине именно вокруг Ольги более всего концентрируются детали, ассоциативно связанные не столько с изображением стандартного, литературного штампа, сколько с незрелостью и личностной непроявленностью: „Всегда скромна, всегда послушна, // Всегда, как утро, весела, // Как жизнь поэта, простодушна, // Как поцелуй любви, мила...”⁶ – потому-то ее очевидная красота вызывает отторжение у невлюбленного, а значит, и более критичного Онегина (и возможно, по той же причине последующие литературные „потомки” Ольги – Марфинька в *Обрыве* И.А.Гончарова и Марфинька в *Приглашении на казнь* В.В.Набокова наследуют именно ее исключительную детскость, которой, очевидно, не суждено смениться более зрелой стадией личностного развития).

Детское в Ольге Пушкин связывает и с игровыми ассоциациями („младенческие забавы” – „её забавы” – „горелки” – „ветреные

⁶ Александр Пушкин: *Полное собрание сочинений в 16 томах*. Том 6: *Евгений Онегин*. Москва – Ленинград 1937, с. 41.

утехи”), и с легкомысленно-бездумным отношением к жизни, в результате чего действия Ольги, помимо ее воли, становятся причиной ссоры Онегина и Ленского, и в конечном счете запускают некий „маховик” судьбы, который разрушит надежды практически всех героев романа.

Литературные ассоциации, сгруппированные вокруг образа Ольги, также объединены семантическим ореолом легкости, эфемерности – по преимуществу определяя выбор тропов: насекомые (мотылек, пчела), птицы (ласточка, голубка), цветов (ландыш, лилия, „двухутренний цветок”). Условно-литературные имена, которыми она наделяется, – связанная с ощущением эфемерно-проходящего утра Аврора („Авроры северной алей...”)⁷, и Филлида⁸ – условно-литературное имя адресата сентименталистских мардригальных текстов – возможно, ассоциировавшаяся для Пушкина с карамзинским поздравительным посланием *Филлиде* („Проснись, проснись, Филлида!..”, 1790), в котором пожелания прекрасной имениннице раскрываются как некое обобщенно-литературное представление об идеальном существовании юной девушки, подобной пушкинской героине:

Да будет день твой красной
Единым майским утром,
Которое питает
Ясмину и лилеи ...
Будь радостна, беспечна.
Как радостен, беспечен
Певец весны и утра,
Виясь под облаками...⁹

Само исчезновение Ольги из романа, прощание с родительским домом после замужества раскрывается в устойчивых мотивах детского поведения: „И скоро звонкий голос Оли // В семействе Лариных умолк...”¹⁰, в принципе не отличающихся от прежних упоминаний ее „резвости”, „веселости”, „звонкого смеха”, беспечности – не изменившихся в героине, несмотря на совершившуюся жизненную драму.

⁷ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 106.

⁸ *Ibidem*, с. 52.

⁹ Николай Карамзин: *Полное собрание стихотворений*. Москва–Ленинград 1966, с. 82.

¹⁰ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 143.

Юность как следующая ступень, безусловно, оказывается отдана в романе Ленскому, которого (в соответствии с принципом „прирастания”, „наследования” предыдущих жизненных этапов) мы видим и „отроком”, и собственно юношей (обозначение „юный”, „юноша” чаще всего звучит в романе именно по отношению к Ленскому – семь раз, не считая практически синонимичного в данном контексте определения „молодой” и близких по значению перифрастических определений).

Юность, воплощенная фигурой Ленского, прежде всего раскрывается как пора предельной увлеченности, для которой самые разные, иной раз противоречивые жизненные явления оказываются равно привлекательными. Пожалуй, именно эта юношеская увлеченность, а не „легковесность”, о которой нередко упоминалось в контексте рассмотрения образа Ленского в связи с идеей „полемики с романтизмом”, стоит за многочисленными „перечнями” самых разнообразных культурно-исторических ассоциаций, окружающих этот образ:

Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч¹¹

Своеобразные „перечни” лежат в основе и многочисленных пастишей, представляющих размышления и стихи Ленского (см. строфы VIII, IX, X, XX, XXII главы второй, XXXVII главы третьей, XXI, XXII главы шестой):

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его принять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;

¹¹ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 33-34.

Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит¹²

Сам набор литературных жанров, ассоциирующихся с образом Ленского (мадригал – эпитафия – идиллия – элегия – ода¹³), столь разнопланов, что и в этом случае возникает эффект максимального разнообразия, готовности отозваться на самые различные жизненные явления, в равной мере увлекающие юношеское воображение.

В ссоре с Онегиным раскрывается ряд культурно-психологических ассоциаций, связанных с противоположной гранью юношеской увлеченности: Ленский последовательно оказывается во власти литературно обусловленных образов – Ольги-изменницы или Онегина-соблазнителя, игнорируя реальную ситуацию, которая не может быть сведена ни к одной крайности, ни к одной из литературных моделей, в плену которых в данном случае оказывается пушкинский герой.

Наиболее трагическое, самое „реальное” из всех событий романного сюжета – смерть Ленского – в контексте представлений о жизненных этапах также реализует более обобщенный, универсализующий потенциал пушкинской художественной антропологии. Смерть в данном случае настигает героя-юношу отчасти и потому, что именно скоротечность юности как этапа жизненного роста заставляет наиболее напряженно размышлять о неотвратимом движении времени, и смерть в этом случае – неизбежный предел, заставляющий чувствовать губительное, страшное воздействие времени максимально трагически.

В этом смысле Ленский – не только олицетворенная юность, но и олицетворенное время (в связи со скоротечностью этого состояния). Не случайно практически с момента появления Ленского в романе ему постоянно сопутствуют авторские размышления (и созвучные им в этом случае размышления Онегина) о том, что „ещё не...” случилось, но непременно должно с течением времени произойти: „От хладного

¹² Ibidem, с. 34.

¹³ Подробнее о *Евгении Онегине* как „энциклопедии” литературных жанров см.: Владимир Турбин: *Поэтика романа А.С.Пушкина „Евгений Онегин”*. Москва 1996.

разврата света // Ещё увянуть не успев...”, „Ещё пленяли юный ум...”¹⁴, „ум, ещё в сужденьях зыбкой...”¹⁵, „... пора придёт...”¹⁶, и др.

Философский контекст размышлений о времени в связи с фигурой Ленского придаёт неожиданно серьёзный смысл его чересчур „литературным”, „цитатным” элегическим стихам („Он пел поблѣклый жизни цвет // Без малого в осьмнадцать лет...”¹⁷); предсмертная же „элегия” Ленского тем более приобретает, пусть ретроспективно, едва ли не пророческий потенциал: „Блеснет завтра луч денницы, // И заиграет яркий день; // А я – быть может, я гробницы // Сойду в таинственную сень...”¹⁸, – во всяком случае, последующее развитие событий подтверждает горестные предчувствия Ленского, связанные не только с возможной гибелью, но и посмертной судьбой – забвеньем Ольги.

Невероятно замедленное, предельно укрупнённое изображение гибели Ленского становится в романе очевидной кульминацией в развёртывании авторских размышлений о времени. Само мгновение, как то, что, казалось бы, невозможно наблюдать, в данном случае длится почти бесконечно, приковывая внимание к совершавшемуся трагическому событию во всей его неотвратимости, неизбежности, абсолютности. Нелепость гибели Ленского на сюжетном уровне дополнительно усиливает ощущение бесповоротности, раскрывающееся на уровне философском – в данном случае, на уровне темпоральных универсалий. Метафора „пробили // Часы урочные...”¹⁹, подержанная переносом (enjambement), несчастным в тексте *Евгения Онегина* и потому всегда несущим психологический эффект, который рождается самой энергией „замедлившегося” стиха; далее – изображение падающего мертвым Ленского, развернутое сравнение („Так медленно по скату гор...”), „мгновенный” холод, охвативший Онегина, – и наконец, собственно „мгновение”, к изображению которого вёл внутренний микросюжет эпизода – в данном случае совпадающий с философским темпоральным сюжетом романа в целом:

Недвижим он лежал, и странен

¹⁴ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 34

¹⁵ *Ibidem*, с. 37

¹⁶ *Ibidem*, с. 38.

¹⁷ *Ibidem*, с. 35.

¹⁸ *Ibidem*, с. 126.

¹⁹ *Ibidem*, с. 136.

Был томный мир его чела.
 Под грудь он был навывлет ранен;
 Дымясь, из раны кровь текла.
 Тому назад одно мгновенье
 В сем сердце билось вдохновенье,
 Вражда, надежда и любовь,
 Играла жизнь, кипела кровь,
 Теперь, как в доме опустелом,
 Всё в нём и пусто и темно;
 Замолкло навсегда оно,
 Закрыты ставни; окна мелом
 Забелены. Хозяйки нет.
 А где, бог весть. Пропал и след²⁰.

„Тому назад одно мгновенье...” ... „теперь” ... „навсегда”, – лексико-синтаксические „остановки”, по-своему также выстраивающие „перечень” тех временных вех, следуя которым, и совершается событие – неотвратно-бесповоротное, последствия которого ужасны, – но отныне единственно реальны для романного космоса и человеческой души. Скоротечная юность миновала, унесена потоком времени, и более не возвратится.

Идея самостоятельного рассмотрения молодости, в отличие от юности, как двух следующих друг за другом стадий в личностном становлении человека, применительно к художественной антропологии Пушкина, не нова. В сущности, она восходит к автокомментарию *О стихотворении „Демон”*:

В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противуречия сущности рождают в нем сомнения, чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда лучшие надежды и поэтические предрассудки души²¹.

Пушкин довольно четко выделяет юность как время очарования и следующую за нею стадию разочарования, болезненной утраты иллюзий – мотив, достаточно распространенный уже в сентиментально-предромантических, и в особенности романтических психологических штудиях, необходимых для оформления базовой роман-

²⁰ Ibidem, с. 130-131.

²¹ Ibidem, с. 262.

тической оппозиции: *Я – Мир*. Если юноша „живет да верит мира совершенству...”²², то „достоянием” молодости становится открытие его противоречий и порожденное им „безочарование” – стадия душевного становления Онегина, которой суждено сделаться завязкой собственно романного сюжета в книге.

„Принцип наследования”, постепенного наложения различных возрастных стадий, в свою очередь, окруженных рядами характерных для каждой из них культурно-психологических ассоциативных рядов, способствует тому, что фигура Онегина становится самой развитой и последовательно раскрытой в романе. Читатель видит его ребенком (что, безусловно, позволяет ставить проблему детерминированности жизненной драмы героя обстоятельствами воспитания, среды, мира, частью которого он был), видит юношей, увлечение которого, в отличие от поэзии и философии Ленского, – „наука страсти нежной”, во всех ее многообразных проявлениях (полнотой исчисления, действительно, заставляющей вспомнить своеобразный „энциклопедизм” *Науки любви* Овидия):

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,
Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой²³

Вновь стадия развития личности, как это зачастую бывает в пушкинском романе, оформляется благодаря перечню – навыков Онегина в применении „науки страсти нежной”, потенциально способному превратиться в целый ряд сюжетных ситуаций, „разверты-

²² Александр Пушкин: *Op. cit.*, том 11: *Критика и публицистика, 1819-1834*. Москва – Ленинград 1949, с. 30.

²³ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 9.

вающих” предельно лаконичный пушкинский роман в более привычную для литературных ожиданий публики цепочку любовных приключений героя (намекы на них останутся как в черновых редакциях, так и в начале главы четвертой, насыщенной упоминанием мотивов привычной читателю романистики XVIII века в духа *Опасных связей*²⁴.

Однако взамен этой юношеской увлеченности любовными приключениями читатель получает психологическую загадку развития героя, началом которой и становится парадоксальный отрицательный ответ на вопрос о счастье, заданный применительно к юноше, вся жизнь которого с первого взгляда только и кажется воплощением всего, о чем только может мечтать человек:

Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

Нет... <...>²⁵

Собственно „психолого-антропологическое исследование” загадок „английского сплина” как необъяснимого и вместе с ним чрезвычайно привлекательного своей таинственностью „недуга” начал в русской литературе, пожалуй, Н.М.Карамзин, в *Письмах русского путешественника* изобразивший таинственного аббата, который был молод, весел, здоров, любим в обществе, казался абсолютно счастливым – и вдруг без всяких видимых причин разочаровался во всем, стал задумчив, чуждался общества и наконец свел счеты с жизнью. Этот фрагмент публиковался и отдельно, как своеобразный психологический этюд, под названием *Самоубийца. Анекдот* в первом номере „Московского журнала”. В карамзинской трактовке при этом преобладал именно мотив необъяснимости, загадочности душевных процессов, которые нельзя объяснить рационально (не случайно позднее, уже в „английской” части книги, попытка самого повествователя-путешественника представлять сплин следствием нездоровой

²⁴ Лариса Вольперт: *Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль*. Москва 1998.

²⁵ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 20-21.

диеты англичан сопровождается отчетливой самоиронией²⁶). В пушкинской версии объяснения „русской хандры”, подобной „английскому сплину”, безусловно, присутствует гораздо больше культурно-психологической детерминированности, связанной с осмыслением дендизма²⁷; при этом, разумеется, речь не идет о том, чтобы полностью объяснить поведение героя, уничтожив „загадку” – просто сама она оказывается представлена со множеством вводных „условий”, потенциально способных вести к разгадке – но отнюдь не обязательно верных, почему и будет всегда актуальным вопрос: „Ужель загадку разрешила, // Ужели слово найдено?..”.

Незавершенность личностного становления Онегина в романе выявляется в ситуации ссоры с Ленским – и более всего в необходимости четкой и однозначной реакции на вызов – реакции, которая одна и могла остановить дуэль. Исследователи не раз отмечали многочисленные детали в описании того, как ведет себя Онегин в утро дуэли, выявляя целый ряд более или менее значительных нарушений дуэльных правил, которые тот допускает, – настолько очевидных, что это делало возможным для Ленского отказаться от дуэли, считаясь при этом победившей стороной²⁸. Однако сложившиеся обстоятельства требуют от Онегина еще более однозначных действий – совершить которые он не находит в себе сил, что, в свою очередь, и вызывает однозначное авторское осуждение: „И поделом [...] // Пускай поэт // Дурачится; в осьмнадцать лет // Оно простительно. Евгений, // Всем сердцем юношу любя, // Был должен оказать себя // Не мячиком предрассуждений...”²⁹. „Возможный сюжет” этой части романа оформляется многочисленными конструкциями „мог бы...”, „должен был...”, представляющими героя, сумевшего развиться до той стадии, когда человек в самом деле управляет своими поступками и потому не зависит от внешних условий, выступая равным себе при любых обстоятельствах.

²⁶ Татьяна Алпатова: *Здоровье и болезнь в художественной системе Н.М.Карамзина*, „Вестник Московского государственного областного университета”. Серия Русская филология, 2017. № 5, с. 86-95.

²⁷ Ольга Вайнштейн: *Денди: мода, литература, стиль жизни*. Москва 2005, с. 169-189.

²⁸ Юрий Лотман: *Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин”. Комментарий: Пособие для учителя*. Ленинград 1983, с. 98-99.

²⁹ Александр Пушкин: *Op. cit.*, с. 121.

Зрелость как „самостоянье человека” в антропологической концепции Пушкина – ценностная категория. Общеизвестная исследователями возможность связать в романе это состояние души с личностным развитием Татьяны также вполне ожидаема. И в этом случае, как и у других героев, читатель видит постепенное движение героини через предшествующие стадии (детство – юность – молодость), с той разницей, что в изображении ее детства практически отсутствуют мотивы легкости, беспечности и бездумности. Гораздо необычнее в данном случае видится то, что загадкой остается сам момент наступления зрелости – не случайно так часто в исследовательской литературе встречаем мысль о „внезапной”, или, во всяком случае, сложно мотивируемой инициации Татьяны в восьмой главе – читатель в известном смысле смотрит здесь на нее глазами Онегина, потрясенного совершившейся невероятной переменой („Ужель та самая Татьяна [...] // Та девочка... или это сон?..”³⁰).

Однако собственно момент, разбивающий юношеские мечты героини, – ответ Онегина, следствием которого становятся „любви безумные страданья”, горенье „страсти безотрадной”, – то глобальное чувство несчастья, с которым наступление молодости было связано и для самого героя – хотя в данном случае переживание героини оказывается более глубоким и потому, на первый взгляд, поистине безысходным.

„Выходом”, позволяющим героине сделать шаг, в художественной антропологии Пушкина необходимый для достижения подлинной зрелости, становится для героини возможность познания – в первую очередь, предмета своей любви. Путей такого познания два – интуитивно-мистический и рационально-логический, и оба их последовательно проходит Татьяна: вначале чудесным образом видящая во сне как смятенную душу Онегина, так и будущее несчастье, убийство Ленского, которое разрушит судьбы их всех, а затем, оказываясь в кабинете Онегина и читая его книги. Это открытие „много мира”, мира Онегина, увиденного со стороны, из некоего „иного” состояния души, природа которого не ясна ни самой героине, ни читателю, и раскрывается как „зрелость” лишь в восьмой главе.

Рецепция финала *Евгения Онегина* – одного из многочисленных эпизодов романа, так часто вызывающих споры – может быть

³⁰ Ibidem, с. 174.

предметом отдельного очерка, – столь разнообразны и выразительны существующие трактовки. В свете концепции личностного роста представляется интересным предложенный В.С.Непомнящим взгляд и на замужество, и на финальную реплику героини с учетом разноразности романной структуры, когда, помимо событийной, и даже помимо психологической реальности (учитывая которые, в действиях героини вполне возможно видеть лишь безысходность, в лучшем случае, скрашиваемую этическими принципами), на уровне онтологического, универсализующего прочтения раскрывается ее своеобразный „дар” Онегину – переступая „через страсть во имя любви”³¹ Татьяна живой энергией своего действия утверждает для героя иную форму человеческого бытия – ту самую ступень личностной зрелости, на пороге которой Онегин и замирает в финале романа.

Художественная антропология Пушкина – сложно выстроенная, органичная, динамично развивающаяся система, исследование которой, по-видимому, может открыть новые возможности как для трактовки отдельных произведений, так и для выстраивания более общего очерка пушкинской картины мира. Сложность в решении этой задачи – сохранение баланса в разговоре о „философии” и ее художественной природе, тех поэтических законов, существование которых в пушкинском мире и становится энергией, в конечном итоге порождающей поэтическую мысль.

REFERENCES:

- Alpatova Tat'yana: Zdorov'e i bolezni' v hudozhestvennoj sisteme N.M.Karamzina, „Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta”. Seriya Russkaya filologiya, 2017. № 5, s. 86-95 (Алпатова Татьяна: *Здоровье и болезнь в художественной системе Н.М.Карамзина*, „Вестник Московского государственного областного университета”. Серия Русская филология, 2017. № 5, с. 86-95).
- Bocharov Sergej: O real'nom i vozmozhnom syuzhete („Evgenij Onegin”), Dinamicheskaya poetika. Ot zamysla k voploshcheniyu. Moskva 1990, s. 14-38 (Бочаров Сергей: *О реальном и возможном сюжете*

³¹ Валентин Непомнящий: *Пушкин: Избранные работы 1960-х - 1990-х годов*. Москва 2001, с.274-275.

- („Евгений Онегин”), *Динамическая поэтика. От замысла к воплощению*. Москва 1990, с. 14-38).
- Vajnshtejn Ol'ga: Dendi: moda, literatura, stil' zhizni. Moskva 2005 (Вайнштейн Ольга: *Денди: мода, литература, стиль жизни*. Москва 2005).
- Vol'pert Larisa: Pushkin v roli Pushkina. Tvorcheskaya igra po modelyam francuzskoj literatury. Pushkin i Stendal'. Moskva 1998 (Вольперт Лариса: *Пушкин в роли Пушкина. Творческая игра по моделям французской литературы. Пушкин и Стендаль*. Москва 1998).
- Karamzin Nikolaj: Polnoe sobranie stihotvorenij. Moskva–Leningrad 1966 (Карамзин Николай: *Полное собрание стихотворений*. Москва–Ленинград 1966).
- Lotman YUrij: Roman A. S. Pushkina „Evgenij Onegin”. Kommentarij: Posobie dlya uchitelya. Leningrad 1983 (Лотман Юрий: *Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин”. Комментарий: Пособие для учителя*. Ленинград 1983).
- Nepomnyashchij Valentin: Pushkin: Izbrannye raboty 1960-h - 1990-h godov. Moskva 2001 (Непомнящий Валентин: *Пушкин: Избранные работы 1960-х - 1990-х годов*. Москва 2001).
- Pumpyanskij Lev: Klassicheskaya tradiciya: Sobranie trudov po istorii ruskoj literatury. Moskva 2000 (Пумпянский Лев: *Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы*. Москва 2000).
- Pushkin Aleksandr: Polnoe sobranie sochinenij v 16 tomah. Tom 6: Evgenij Onegin. Moskva-Leningrad 1937 (Пушкин Александр: *Полное собрание сочинений в 16 томах. Том 6: Евгений Онегин*. Москва-Ленинград 1937).
- Turbin Vladimir: Poetika romana A.S.Pushkina „Evgenij Onegin”. Moskva 1996 (Турбин Владимир: *Поэтика романа А.С.Пушкина „Евгений Онегин”*. Москва 1996).